

*Здесь и сейчас*

**ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, НАРОД И ВЛАСТЬ**

**С.А. Никольский**  
Институт философии РАН

**Аннотация:** Традиционные и современные, постоянно обновляемые в российском социуме отношения интеллигенции, народа и власти делают актуальной задачу их погруженно-го в историю критического анализа. Тем более сегодня, когда так настойчиво власть предлагает обогатить содержание таких понятий как историческая память, национальная идентичность, патриотизм. Показать их неизменность и присущую им несменяемую сущность на материале философствующей отечественной литературы я попытался в настоящем тексте.

**Ключевые слова:** интеллигенция, народ, власть, личность, общество, философия, культурология, политология, история, литература.

Ставшая фактом современная конфронтация России со странами Запада сделала актуальным переосмысление внутренней проблемы — отношений народа, власти и интеллигенции — тех, кто в прошлом именовался «образованной частью общества». В новой ситуации власти понадобился народ с иным, чем в прошлом сознанием и народ легко откликнулся на властный запрос. Не осталась в стороне и интеллигенция. Но насколько «новое» — запрос и само сознание — и в самом деле ново?

***Власть, интеллигенция и народ: привычное общение***

В любых человеческих объединениях, в которых сознают главенство культуры в совершенствовании государства и общества, внимание политиков в первую очередь обращено на национальную литературу. Кажется, смотришь в нее, как в зеркало, и ищи способы совершенствования себя и своего бытия. В полной мере это относится к великой русской литературе. И хотя в России всегда крепко держались мнения, согласно которому в собственном отечестве пророка нет, тем не менее, пока у нас не иссяк интерес к социальным проблемам, не может пропасть и интерес к прозрениям отечественной классики, к ее критической и наставительной роли. Тем более, что многое в ней как бы написано только вчера.

На протяжении более чем двухвековой истории русские литераторы как часть интеллигенции были не просто наблюдателями, но активными участниками процессов, происходивших в пространстве взаимоотношений народа, с одной стороны, и государственной власти в

самых разных ее проявлениях, с другой. Что же они видели и каким образом надеялись преодолеть несовершенство народа и власти?

Говоря об отечественной классике (философствующей литературе), исследователь, разумеется, прежде всего обратит внимание на те произведения, в которых звучат явные призывы к улучшению государства в его управлении подданными или в которых даже предпринимаются дерзкие попытки создания идеальной управленческой модели. Вышедшие в свет с разницей всего в девять лет пьеса Дениса Ивановича Фонвизина «Недоросль» (1781) и путевые очерки Александра Николаевича Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) из таковых. Именно они положили начало не только теме отношений народа и власти, но и наметили две линии ее развития в русской литературе. Первая, радищевская — адресованное власти предупреждение, что чинимые ею безобразия и беззакония могут в конце концов породить бунт. И вторая, фонвизинская, предлагающая проекты разрешения властно-народных конфликтов — от реформаторских до утопических.

Именно своей проективностью, кроме присущего ей разоблачительно-сатирического пафоса, интересна знаменитая комедия Фонвизина. Как помним, один из ее центральных героев — присланный из столицы чиновник Правдин. Он, наделенный монаршей властью, вершит суд над зловредными провинциальными помещиками Простаковыми и поддерживает в делах и помыслах возвратившегося из Сибири предпринимателя Стародума. В комедии явно виден идеал просвещенного монарха, через своих чиновников вершащего праведный (отсюда и говорящая фамилия) суд, не чуждого даже и либеральным идеям. Отмечу, что только в форме проекта такого рода и единственный (!) раз за все время существования русской литературы зло оказывается разоблаченным и посрамленным, а на сцене (коль скоро мы имеем дело с пьесой) после его изгнания остается торжествующее добро.

Однако довольно быстро рядом с идеей гармонизации отношений между властью и народом в рамках просвещенной монархии возникает ставший впоследствии главным для отечественной словесности жанр критико-реалистического повествования, к тому же в крайнем его варианте. Речь о знаменитом «Путешествии» Радищева. Несколько позже к этой же теме и в этом же ключе, как известно, обратился и Пушкин. В романе «Капитанская дочка», а еще более в драме «Борис Годунов», вопросы о легитимности власти, механизме ее становления и роли в этом процессе народа, главные. Описываемые в произведениях исторические события совпадают с сюжетным замыслом. В центре — фигура самозванца, озабоченного легитимацией своей власти. В самодержавной России начала XVII столетия для успешности такого предприятия требуется всего три условия. Определенные личные качества претендента, его способность «преступить», сделать то, что для всех остальных невозможно: богобоязненным тут делать нечего, а склонным к разбою самое место. Во-вторых, это его способность «играть» на распрях, раздирающих правящую элиту и на внешнеполитической ситуации — претензиях соседей, ищущих предлога для борьбы за русский престол. И, наконец, главное — безмолвие народа — его страх, неразвитость и — следствие — безразличие к происходящему.

Безмолвие народа не означает у Пушкина, как иногда трактуется, его нравственного оправдания со стороны художника<sup>1</sup>. Не случайны произносимые в адрес народа уничижительные суждения бояр<sup>2</sup> и самого Бориса: он темен и нищ, лишен человеческого достоинства и совести. В предложенную трактовку вписывается и портрет народа в заключительной, не вошедшей в основной текст «Капитанской дочки», сцене осады амбара, в которой хозяин имения с женой, сыном и Марьей Ивановной забаррикадировался от взбунтовавшихся кре-

<sup>1</sup> В отечественных исследованиях есть точка зрения, согласно которой народ осуждает зверства царских приспешников. См., например: Волков 1989: 119. Но она не кажется основательной.

<sup>2</sup> С боярином Пушкиным поэт отождествлял себя.

стьян, казаков и башкир. Очевидно, что симпатии Пушкина — на стороне осажденных, а народ и в самом деле «толпа злодеев», как говорит о нем один из обороняющихся. В общем, еще раз хрестоматийное: «Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный! Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка» [Пушкин 1981: 328].

Не обошел стороной тему «народ — власть» и Н.В. Гоголь. И хотя в знаменитом «Ревизоре» народа как такового нет, а Хлестаков лишь пародия на власть, комедия в известном отношении реалистический «ответ» на фонвизинские мечтания, а ее главный герой — подлинная насмешка над образом Правдина, равно как и взыскующий справедливости выходец из народа капитан Копейкин в «Мертвых душах».

Пушкинская оценка народа подтверждается и недалеким от него по времени творчеством А.И. Герцена. О том, что являло собой российское общество в пушкинскую эпоху, читаем его знаменательное свидетельство: «Невозможны уже были никакие иллюзии: народ остался безучастным зрителем 14 декабря<sup>3</sup>. Каждый сознательный человек видел страшные последствия полного разрыва между Россией национальной и Россией европеизированной. Всякая живая связь между обоими лагерями была оборвана, ее надлежало восстановить, но каким образом? В этом и состоял великий вопрос» [Герцен 1956: 214]. Наблюдение Герцена симптоматично: спустя полстолетия, считая от Радищева, не было никаких признаков изменений в самосознании народа. А главной национальной задачей литераторам, выступавшим в роли интеллигентов — просветителей народа и его защитников перед властью, по-прежнему виделась гармонизация отношений между ними.

В «спокойной» России, и в самом деле, десятилетиями ничего не менялось. Описанная в гоголевском «Ревизоре» (1836) провинциальная жизнь, равно как и связанные с приездом петербургского чиновника события, мало чем отличались от сюжетов «Семейной хроники» С.Т. Аксакова (1856) или «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина (1869). Но если Гоголь и Аксаков исследуют пороки системы правления, то Щедрин обращается к обеим сторонам — к управляющим и управляемым. Впрочем, в отношениях народа и власти кое-что переменялось: расширен спектр методов — от азиатского, варварского, сопряженного с насилием и даже убийством, до прозападного, время от времени вовлекающего подданных в преобразовательные замыслы либерального толка. Однако в рамках либеральных начинаний никому из щедринских градоначальников, как помним, удержаться не удалось, и едва начавшее расти в душах обывателей «древо гражданственности» грубо и нетерпеливо рубится под корень с привычным приказом «Влепить!»

Что же до качеств управляемого общества, то Щедрин, наряду с прочими, отмечает и характерную особенность русских людей — способность и готовность по приказу быть всем, чем угодно<sup>4</sup>. Однажды, пишет Михаил Евграфович, покойный литератор Кукольник «необыкновенно ясно и дельно», без каких-либо приготовлений изложил перед композитором Глинкой историю Литвы, и когда последний выразил свое удивление по этому поводу, отвечал: «Прикажут — завтра же буду акушером». Ответ этот, отмечает Щедрин, драгоценен, ибо, давая представление о «мере талантливости и игры ума» русского человека, раскрывает и некую тайну, свидетельствующую, что упомянутая талантливость находится в теснейшей зависимости от «приказания». «Ежели мы не изобрели пороха, — объясняет автор „Истории одного города“, — то это значит, что нам не было это приказано; ежели мы не опередили Европу на поприще общественного и политического устройства, то это означает, что и по сему предмету никаких распоряжений не последовало. Мы не виноваты. Прика-

<sup>3</sup> Речь, естественно, о восстании декабристов 14 декабря 1825 года. — С.Н.

<sup>4</sup> Это же, как увидим, с безнадежностью отметит и Н.С. Лесков.

жут — и Россия завтра же покроется школами и университетами; прикажут — и просвещение, вместо школ, сосредоточится в полицейских управлениях. Куда угодно, когда угодно и все, что угодно. Литераторы ждут приказа, чтоб сделаться акушерами; повивальные бабки стоят во всеоружии, чтоб по первому знаку положить начало родовспомогательной литературе. Все начеку, все готово устремиться, куда глаза глядят <...> Уверенность в нашей талантливости так велика, что для нас не полагается даже никакой профессиональной подготовки. Всякая профессия доступна нам, ибо ко всякой профессии мы от рождения вкус получили. Свобода от наук не только не мешает, но служит рекомендацией, потому что сообщает человеку букет „свежести“» [Салтыков-Щедрин 1988: 68–69].

Щедринская характеристика затрагивает мимоходом и главную идейную контрверзу того времени — спор славянофилов и западников: тезис «для русского человека нет ничего недостижимого» охотно разделялся многими почвенниками, которые всерьез полагали, что для какого-либо свершения нам не требуется ничего, кроме, говоря словами Щедрина, «чистоты сердца и не вполне поврежденного ума». Вместе с тем, это нелестное суждение относится не только к русскому народу и его свойствам, но и к власти, к оценке уровня задач, ею выдвигаемых: «Требовались только *простые* сапоги, *простое* платье, *простая* музыка, то есть такие именно вещи, для выполнения которых совершенно достаточно двух элементов: приказа и готовности. Кукольник знал, что говорил, когда вызывался хоть сейчас быть акушером» [Там же: 71]. Однако как только дело касается чего-то сложного, требующего знаний, опыта, свободного состояния производителя и систематического труда, от «талантливости» и готовности выполнить все что угодно остается «пустое место». Вновь оживает привычный способ разрешения проблем, столь близкий русскому сердцу: «Нам все еще чудится, что надо нечто разорить, чему-то положить предел, что-то стереть с лица земли. Не полезное что-нибудь сделать, а именно только разорить. Ежели признаться по совести, то это собственно мы и разумеем, говоря о процессе созидания» [Там же: 76]. Из всего, что принесла нам просвещенная Европа, — продолжает литератор, — «митрофанушки» усвоили одну только Табель о рангах. Во всем остальном Запад, по их суждению, весьма и весьма плох. «Мнения, что Запад разлагается, что та или другая раса обветшала и сделалась неспособною для пользования свободой, что западная наука поражена бесплодием, что общественные и политические формы Запада представляют бесконечную цепь лжей, в которой одна ложь исчезает, чтоб дать место другой, — вот мнения, наиболее любезные Митрофану» [Там же: 78].

Однако жить в таком мире даже для «митрофанов» делается чем далее, тем труднее. Все настоятельнее требуется «новое слово». И время от времени «митрофаны» вынуждаемы перенимать с Запада какую-нибудь «новую штуку». Но поскольку она — «штука» — перенимается ими «независимо от общих форм жизни, то весьма естественно, что она их же бьет в лоб. Мир открытий и изобретений в глазах Митрофанов есть мир подробностей, существующий *an sich und fur sich*<sup>5</sup> и не имеющий внутренней связи с общим строем жизни» [Там же: 82]. Вот почему русские «митрофаны» постоянно попадают впросак, какой бы ни была любимшаяся им «новация». И Щедрин, в том числе и в назидание «митрофанушкам» XXI века, формулирует свой вывод-приговор: «Если каждое новое открытие или усовершенствование приводит лишь к тому, что бьет в лоб, и ежели при этом нет даже поползновения определить причину такого странного действия открытий и усовершенствований, то остается одно из двух: или закутаться в саван, или обратиться в дикое состояние» [Там же: 83]. И хотя Бог милостив и перед Россией постоянно возникает возможность лучшей жизни, но на все у нас неизменно следует один ответ: «Погодите! еще время не пришло!» Нужно сословие адвокатов? Нужен гласный и уставный суд? Нужны земские деятели и им нужно передавать власть на местах? Нужны опыты крестьянского самоуправления? — На все один ответ.

<sup>5</sup> В себе и для себя (*нем.*).

А машина истории не имеет ни механизма заднего хода, ни тормозов. Вот уж приходит новый, капиталистический строй. И что застает? «Подготовки нет, а ремесленность уже проникает всюду. Ремесленность самого низшего сорта, ремесленность, ничего иного не вожделяющая, кроме гроша. Надул, сосводничал, получил грош, из оногo копейку пропил, другую спрятал — в этом весь интерес настоящего. Когда грошей накопится достаточно, можно будет задрать ноги на стол и начать пить без просыпу: в этом весь идеал будущего <...> Молчание — вот единственный ясный результат, который покуда выработала наша так называемая талантливость» [Салтыков-Щедрин 1988: 84].

Продолжая линию Фонвизина, новую систему взаимоотношений народа и власти в варианте первой протокоммунистической утопии создает Николай Гаврилович Чернышевский в романе «Что делать?» (1863). При этом, от свойственной до него русской классике христианской традиции не остается и следа. «Новые люди» объявляются единственными творцами социальных и нравственных ценностей. Богом человека провозглашается здравый смысл, целесообразность и польза. Для «старых» людей в новом обществе места нет, и ответ на вопрос об их будущности предельно ясен. Впрочем, конструкции писателя не хватало «технологичности»: не было понятно, на каких основаниях — смыслах и ценностях, присущих русскому взгляду на мир, новый строй жизни может утвердиться.

Образовавшийся пробел попытался восполнить Федор Михайлович Достоевский своим «подпольным человеком», главным, по его словам, человеком в русском мире. Этим собирательным персонажем он пророчески указал на будущего героя отечественной политической сцены, равно как и на характер грядущих взаимоотношений народа и государства. После Достоевского конструкция Чернышевского, вопреки первоначальному благому замыслу, обрела законченность, и оставалось лишь дожидаться появления реальных деятелей, в которых произошел бы сплав низменных качеств «подпольного человека» и идеологии «новых» людей с их жизненным принципом «цель оправдывает средства». Впоследствии об этом дьявольском «коктейле» писал Ф.А. Степун [Степун 2000: 509] и эту же смесь имел в виду Н.А. Бердяев, говоря о большевизме как о смеси подсознательного извращенного апокалипсиса с нигилистическим бунтарством.

В «Записках из подполья» герой Достоевского только мучается своей низменной мыслью, не имея духовных и физических сил ее реализовать. Но уже следующий персонаж студент Родион Раскольников ставит над собой эксперимент, пытаясь перешагнуть через свое «ничтожество». И хотя перешагнуть он смог, но идти дальше сил не было: «подпольный человек» только родился и вышел на поверхность. Зато в «Бесах» «подпольный» уже твердо стоит на ногах и производит открытие: для борьбы с государством и властью, которые есть организованная сила, требуется такая же сила — созданная в народе революционная ячейка. Впрочем, в то время нужного «человеческого материала», кроме Петруши Верховенского да еще одного-двух, не обнаруживается. Получалось, что «новый человек» должен быть — целенаправленным воздействием или обстоятельствами воспитан, а еще лучше — выведен в народе как особая порода. Эту породу Достоевский чувствовал отлично. Главные герои «Братьев Карамазовых», взятые из самых темных углов русской жизни, именно таковы. Таким образом было положено начало будущей ледовой дорожке русских революций. И хотя, вскрывая нарыв, Достоевский пытался предостеречь общество об опасности экспериментов (вроде проекта Чернышевского) над русским человеком, его голос не был услышан. Зато свидетельства о природе и причинах нарыва, которые автор «Бесов» обнаружил в западном либерализме и его российских распространителях («Дневник писателя»), власть уяснила четко и соответствующие выводы сделала.

Надо отдать должное отечественной словесности: революционаристская линия разрешения кризисных взаимоотношений народа и власти никогда не была для нее главной. Ей

всегда противостояла линия умеренного либерализма, постепенства малых дел. Об этом много размышляли Тургенев, Лев Толстой, Лесков, Чехов. Но ценности, о которых они говорили, требовали большой работы не только власти, но с народа, много усилий, ответственности, мужества. С другой стороны, более доходчивы и просты оказались «рецепты» быстрого «решения» — революционного переустройства. Впрочем, и власть тоже не спешила разнообразить свои политические методы, продолжая по большей части руководствоваться все тем же щедринским «тащить и не пущать».

\* \* \*

Творчество Александра Васильевича Сухово-Кобылина в отечественной гуманитарной мысли, к сожалению, существенно недооценено. Между тем ставшие достоянием читающей публики все три его пьесы — «Свадьба Кречинского» (1854), «Дело» (1861) и «Смерть Тарелкина» (1869) — не только каждая по отдельности, но как единое произведение делали свое дело, открывая никем прежде не замечаемое. Кроме того, о Кобылине следует сказать и как о первооткрывателе столь важной для XX столетия философско-политологической темы тоталитарного государства, которая много позднее на Западе сделалась центральной для философской литературы Франца Кафки («Процесс»), равно как и в России для прозы Андрея Платонова.

Время пьес Кобылина — это время поиска образа «нового человека», который шел на смену уже изученным литературой феноменам. В литературном пространстве «новый человек» теснил так называемых «лишних людей», «героев-идеологов» и даже сравнительно новую фигуру — тургеневского «человека дела». У Чернышевского «новые люди» получали откровенно утопические черты, у Тургенева и Гончарова только намечались, у Льва Толстого облекались в идеальные одежды, в которых было удобно бить поклоны народу, а у Достоевского представляли в образе почти святых. Но то все были индивиды или их небольшие группы. У автора же «Дела» «новый человек» предстает как организованная часть единого страшного целого — преступной корпорации, органической части власти.

«Новый человек» Кобылина перешагивает сразу несколько ступеней злодейской иерархии и оказывается не только человеком XIX столетия, но и хорошо узнаваемым персонажем века XXI. В качестве квартального надзирателя или следователя этот «новый человек» олицетворяет устремления полиции и органов дознания. В качестве прокурорского или судейского чиновника — надзирающие и карательные органы. Драматург впервые столь масштабно ставит не просто проблему отношения власти и отдельного человека, но отношения организованного внутри государства преступного сообщества, с одной стороны, и разрозненных индивидов так и не сложившегося в России гражданского общества, с другой. Более того, все три пьесы подводят к формулировке простой и ужасной идеи: власть в России может сделать с человеком все, и жизнь под пятой государства опасна, трагична либо вовсе невозможна. Итог: честному человеку придется или умереть в этой стране, или из нее бежать. В одиночку борьба со злом бессмысленна.

Такая ясность и четкость выводов не случайна. Хорошо известно, что Сухово-Кобылин всю жизнь питал пристрастие к занятиям философией, и хотя его философские сочинения, к сожалению, до нас не дошли, сам он свидетельствовал: «Если пьесы мои носят специальный характер богатства содержания и особенно концентрации формы, я думаю, я не только этим, но и самим созданием этих пьес обязан философии» [Бессараб 1981: 210].

Что ожидает читателя, когда он берет в руки трилогию Сухово-Кобылина? Комедия «Свадьба Кречинского» — об обмане в самом святом для начинающей жизнь девушки — любви. Драма «Дело» — о возможности уничтожения любого человека, с которым столкнется не признающая законов и легко сминающая все на своем пути государственная машина.

Так называемая «комедия-шутка» «Смерть Тарелкина» — о безграничной власти чиновников и людоедских аппетитах «государственных» людей, простирающихся даже на потусторонний мир. Безысходность повествования Кобылина идет по нарастающей и это сказывается на самой его форме: от комедии с элементами драмы — к драме — и далее к фантазмагории. (Не от него ли перенял форму реалистической фантазмагии автор «Котлована» и «Чевенгура»?)

Каковы бы ни были сюжеты пьес Сухова-Кобылина, как бы они ни развивались и в чем бы ни состояли их кульминация и развязка, за всем этим, подобно глыбе, стоит образ преступной корпорации, организованной в государство. Все ее члены связаны круговой порукой. Однажды принятый в корпорацию человек может покинуть ее, только сойдя в могилу. Это, кстати, прекрасно известно главному герою «Смерти Тарелкина», который, пытаясь вырваться на свободу, имитирует собственную кончину, а для правдоподобия подкладывает в гроб с муляжом трупа тухлую рыбу.

Изобразив на сцене «фирменный» чиновничий прием — поправление личности как средство укрепления авторитарного государства, Кобылин, разумеется, никакого открытия не совершил. В России об этом было отлично известно на протяжении веков, да и пальма первенства в изображении самодержавной власти, безусловно, принадлежит Гоголю с его бессмертным «Ревизором». Однако, в отличие от Николая Васильевича, Александр Васильевич писал свои пьесы в то время, когда происходили судьбоносные перемены: состоялась отмена крепостного права, проводились либеральные реформы царя-освободителя. Что же обнаруживает драматург? В устройстве государственного механизма, в его работе ничего не изменилось. Это, кстати, подтверждал и цензурный отказ на постановку «Дела». «Настоящая пьеса, — писал цензор, — изображает, как по придирчивости полицейских и судебных властей из самого ничтожного обстоятельства, по ложному перетолкованию слов, возникают дела, доводящие до совершенной гибели целые семейства. Недальновидность и непонимание обязанностей своих в лицах высшего управления, подкупность чиновников, от которых зависит направление и даже решение дел, несовершенство законов наших (сравниваемых в пьесе с капканами), безответственность судей за их мнение и решение — все это представляет крайне грустную картину и должно произвести на зрителя самое безотрадное впечатление, которое еще усиливается возмутительным окончанием пьесы» [Бессараб 1981: 220]. Что же за «дело», так испугавшее власть, осмелился раскрыть Кобылин?

Начав в «Свадьбе» с истории незначительного по своим масштабам мошенничества Кречинского, во второй пьесе автор обращает взор к российскому государственному зданию. С этого — предупреждения о готовящемся властями уничтожении семейства героя Отечественной войны 1812 года помещика Муромцева и начинается вторая часть трилогии Кобылина. Вот выдержка из письма-предупреждения помещику: «С вас хотят взять взятку — дайте; последствия вашего отказа могут быть жестоки. Вы хорошо не знаете ни той взятки, ни как ее берут; так позвольте, я это вам поясню. Взятка взятке рознь: есть *сельская*, так сказать, пастушеская, аркадская взятка; берется она преимущественно произведениями природы и по стольку-то с рыла; — это еще не взятка. Бывает *промышленная* взятка; берется она с барыша, подряда, наследства, словом приобретения, основана она на аксиоме — возлюби ближнего твоего, как самого себя; приобрел — так поделись. — Ну, и это еще не взятка. Но бывает *уголовная*, или *капканная* взятка; — она берется до истощения, догола! Производится она по началам и теории Стеньки Разина и Соловья Разбойника; совершается она под сению и тению дремучего леса законов, помощью и средством капканов, волчьих ям и удилиц правосудия, расставляемых по полю деятельности человеческой, и в эти-то ямы попадают без различия пола, возраста и звания, ума и неразумия, старый и малый, богатый и сирый <...> Таковую капканную взятку хотят теперь взять с вас; в такую волчью яму судопроизводства за-

гоняют теперь вашу дочь. Откупитесь! Ради бога откупитесь! <...> С вас хотят взять деньги — дайте! С вас их будут драть — давайте!» [Бессараб 1981: 93–94].

Поставленная на службу профессиональных стяжателей-чиновников государственная власть изображается как неотвратимая и непобедимая, почти природная сила. Государство, не имеющее противовеса в лице организованного в гражданское общество народа, не подчиненное законам (каковые либо отсутствуют, либо игнорируются), не контролируемое судом и независимой печатью, превращается в монстра.

Завершает трилогию пьеса «Смерть Тарелкина» — о корпоративной чиновной «семье» — союзе, скрепленном общими преступлениями. Чиновничество — послушный инструмент в руках начальства, ненасытные корыстолюбцы. И горе несчастному, на которого обрушились и гнев начальства, и реализованная в поступках жажда наживы его подчиненных. Выхода из характерной для России системы взаимоотношений власти и народа, как и прежде, нет.

\* \* \*

Изменений во власти, в том числе — в понимании ею новых целей и задач во взаимоотношениях с народом, почти никогда не происходит до того, как соответствующих изменений не претерпит сам народ, не произойдут перемены в его сознании. С конкретного человека, с нового осознания им самого себя и своего жизненного мира начинаются движения как в народном, так и во властном организмах.

Творчество Николая Семеновича Лескова — одного из крупнейших русских писателей XIX столетия, по уровню сопоставимое с творчеством Льва Толстого и Достоевского, сделавших вопросы изменения природы человека главным предметом своего художественного исследования, долгое время не находило должной высокой оценки. В начале 1860-х годов, в то время, когда Лесков только начинал свою писательскую карьеру, русская культурная жизнь была чрезвычайно политизирована. Лесков ни к одному из полюсов не примыкал. Л.А. Аннинский по этому поводу замечает: «„Направление“ Лескова — это „направление“ широкого демократизма; это позиция человека, безусловно принимающего и поддерживающего реформы, человека безусловно прогрессивных взглядов, человека, безусловно враждебного охранительству, ретроградности и бюрократическому застою русской жизни. Лесков вышел из разночинства, он рано сознал себя как просветитель, „конституционалист“ и сторонник реального раскрепощения народа; он в этих убеждениях был тверд и никогда им не изменил. При этом учтем и то, что в отличие, скажем, от Достоевского с его общечеловеческими безднами и Толстого с его нравственным максимализмом, Лесков в вопросах реальной политики — человек здравого смысла и практически трезвого взгляда на вещи. Именно поэтому он — „постепеновец“ и „реформист“, противник крайних радикалов и изобличитель бунтарских элементов в общественном движении. Он боится практического срыва, боится реальной реакции, боится ответной крайности — и все его знание России, весь его жизненный опыт, вся выношенная за тридцать лет установка на практический результат, а не на „отвлеченную философию“, — все это вполне объясняет его „направление“» [Аннинский 1993: 680].

Главной приметой времени, в которое Лесков начал писательскую деятельность, была отмена крепостного права. Дарованные свободы и реформы далеко не всеми воспринимались как благо. Малоземельное крестьянство, особенно из числа «слабосильных» общинников, получив не столько землю, сколько возможность ее выкупа — то есть, лишь перспективу стать собственником, без «забот» хозяина-помещика чувствовало себя хуже, чем прежде. Да и пора писательских мечтаний прошла. О времени, когда революционные демократы ждали появления в стране «новых людей» и самозабвенно о них живописали, Лесков отзывался так:

«Хотел бы я воскресить Чернышевского и Елисеева: что бы они теперь писали о „новых людях“? <...> Если исправничий писец мог один перепороть толпу беглых у меня с барок крестьян, при их же собственном содействии, то куда идти с таким народом? „Некуда“<sup>6</sup>! <...> Рахметов Чернышевского это должен был бы знать! <...> Ведь с этим зверьем разве можно что-нибудь создать в данный момент? <...> Удивительно, как это Чернышевский не догадывался, что после торжества идей Рахметова русский народ, на другой же день, выберет себе самого свирепого квартального <...> Идеи, которые некому и негде осуществлять, скверные идеи!» [Аннинский 1993: 690].

В какой мере были уместны революционистские упования на русский народ? Имелись ли для этого объективные предпосылки? Какова была природа человека — реального и воображаемого творца общественных перемен?

Только что состоявшееся освобождение от крепостничества миллионов крестьян и утрата сотнями тысяч привычных источников дохода создали своего рода социальный вакуум. Естественного вызревания перемен в рамках предшествующего социально-экономического уклада не состоялось. Освобождение пришло «сверху», и, значит, социально-экономическая система не была адаптирована к новым законам бытия. И такому фрустрированному обществу и растерянному человеку предлагалась опять же чуждая им, не вызревшая в них самих идея искусственного порождения новых субъектов экономической деятельности, носителей новой идеологии. «Нетерпеливцы» всячески подталкивали общество вперед, в то время как авторитарное государство изо всех сил жало на тормоз. Такова была современная Лескову реальность. Как жил в ней человек, желающий перемен?

Поискам ответа на этот вопрос посвящено все творчество Лескова, но я остановлюсь лишь на одном из его рассказов под названием «Овцебык» (1862). В центре повествования судьба странного человека, своим характером, поведением и устремлениями напоминающего не только «лишних людей» русской классической литературы, но и начавших появляться в романной прозе Тургенева героев, ставящих перед собой цели, намного превосходящие их силы и возможности.

Василия Петровича Богословского, получившего прозвище «Овцебык», в советском литературоведении нарекли «разночинцем-революционером». На самом деле он не имеет никакой «прописки» в социальной или революционной иерархии и уже самим прозвищем подтверждает свою особость, несовместимость с отечественной средой обитания. Он никак не может свыкнуться с тем, что в мире невозможно найти ни истину, ни справедливость, и все куда-то стремится, бежит, ищет собеседников и товарищей, отправляясь то к староверам, то к мужикам-крестьянам, то в монастырь или к нанятым купцом работникам.

Одна из причин его неуспехов в том, что он, как его определил местный, взявшийся ему покровительствовать деловой человек, — «ни барин, ни крестьянин, да и ни на что никуда не годящийся». Это со временем начинает понимать и сам Овцебык. В одном из писем он сообщает: «Делать мне здесь нечего, и я одним себя утешаю, что нигде, видно, нечего делать oprичь того, что все делают: родителей поминают, да свои брюхи набивают <...> Некуда идти» [Там же: 85]. Итак, в этом рассказе Лескова появляется столь важное для всего его творчества слово — «некуда». Не может перемахнуть через это слово Овцебык и с помощью ремennого пояска сводит счеты с жизнью. Но непреодолимой преградой это слово стоит и на пути развития российского общества и государства.

От неодолимо надвигающихся на страну перемен Россия XIX столетия пытается защититься чем-то наподобие того круга, который чертил вокруг себя, обороняясь от нечистой силы гоголевский философ Хома. На эту характерную национальную особенность в выстраивании отношений между народом и государством обращает внимание Антон Павлович Че-

<sup>6</sup> «Некуда», взятое в кавычки, отсылает к названию одного из основных романов Н.С. Лескова.

хов. В рассказе «Интеллигентное бревно» (1885) — конфликт между помещиком Помоевым и крестьянином, который в ответ на побои подал жалобу мировому судье. Судья этот, кстати, приятель Помоева, никак не может втолковать помещику, что не крестьянин, а именно он, помещик, нарушил закон:

«— Ну, хорошо, — начал Помоев <...> — ты Гришке 10 рублей присудил, а на сколько же ты его в арестантскую упек?»

— Я его не упекал. За что же его?

— Как за что? — вытаращил глаза Помоев. — А за то, чтоб жалобы не подавал! Нешто он смеет на меня жалобы подавать?» [Чехов 1985: 36].

Не пробиться и сквозь дремучие крестьянские представления о порядке и необходимости его соблюдения следователю в рассказе «Злоумышленник». В мир мужиков-крестьян никак не встраиваются внешние для них новации — железные дороги, паровозы, рельсы. Их, по сути природный мир, замкнут, а прорубать в нем окна (заниматься просвещением) — такую цель государство не ставит. А потому и крестьяне глухи к изменениям в этом чуждом для них бытии. Как тут быть?

Начинать изживать старые социальные предрассудки надо, в том числе, и с самих себя. И Чехов, с его «горестно-оптимистическим» (С.Н. Булгаков), взглядом на действительность<sup>7</sup>, рисует свой проект преобразования существующих общественных отношений. В рассказе «Моя жизнь» (1896) у его героя Мисаила Полознева застарелый конфликт с отцом: физический труд, которым хочет зарабатывать на жизнь юноша, потомственный дворянин, по мнению его отца, «есть отличительное свойство раба и варвара». Отец апеллирует к благородным предкам и традициям, презрев которые сын «стремится в грязь». Мисаил же полагает, что «общественное положение», о котором так печется его отец, «составляет привилегию капитала и образования» [Там же: 193], каковых у него нет и начинает работать по малярному и кровельному делу. За эту «работу не по чину» его третируют все жители города, а влюбленная в него девушка просит не кланяться ей на улице. Решение Мисаила нравственно безупречно и глубоко продумано, в спорах со знакомыми он, в ответ на рассуждения о мировом прогрессе, отвечает: «Вопрос — делать добро или зло — каждый решает сам за себя, не дожидаясь, когда человечество подойдет к решению этого вопроса путем постепенного развития» [Там же: 222].

В противостоянии чеховских героев злу и косности отчетливо слышится и голос самого Чехова, отстаивающего теорию малых дел. Перемены совершаются неспешно и незаметно. Так, сограждане Мисаила постепенно признают его право самому определять свою судьбу, быть свободным от «дворянской крепостной зависимости». Герой как бы переживает свой собственный 1861 год: из недр «дворянской общины» выходит в создаваемый им мир гражданского общества. В конце концов городские власти и общество уступают воле упрямого человека.

Кажется, формула для перемен во взаимоотношениях интеллигенции, народа и власти найдена. Но соответствующее ей действие требует, наверное, не менее двухсот лет, о которых так любят говорить чеховские персонажи, мечтающие о будущем. Хватит ли у интеллигенции и народа терпения?

### *Патриотизм как общенациональная идея*

Современный поиск Россией своей идентичности и на этой основе единения российской нации и, значит, народа и власти, происходит на фоне процессов, начало которым было положено распадом СССР и первыми движениями бывших республик в направлении станов-

<sup>7</sup> Подробнее см. статьи в книге: Проблемы российского самосознания... 2011.

ления национальных государств. При этом, идею национального государства, идущего на смену империи, следует понимать не как одномоментный акт, а как процесс, который предстоит культивировать и на развертывание которого уйдет немало времени. Национального гражданского государства не бывает без граждан, а для этого им нужно перестать быть подданными.

Первичными базовыми основаниями единения людей в национальном государстве выступают разделяемые народом ценности и смыслы культуры, о чем говорилось в первой части текста; усвоенная разными сообществами и одинаково толкуемая историческая память; и, наконец, общее представление о патриотизме и желаемом будущем.

В выработке представлений об общих целях и путях дальнейшего общественного движения одно из центральных мест отводится исторической памяти. То, как в данной культуре понимается и толкуется прошлое, влияет на основные представления народа о себе, о своей стране и о ее месте в мире. В современных обществах прошлое на протяжении последних двух десятилетий активно исследуется и, нередко, пересматривается. Не является исключением и состоящая из множества этнонациональных регионов Россия. Трактовки целых периодов в ее истории часто вызывают полемику. Хорошо, что до поры она не переходит на уровень противостояния социально-политических сил. Однако утешаться этим «до поры» не стоит.

Очевидно, что сегодня прошлое стало полем интеллектуальной борьбы. Иногда эту проблему пытаются решать либо насильственным навязыванием сверху «единственно верного» понимания истории, либо пытаясь уйти от ответов на вопросы, которые «травмируют» «чувства» и общественное сознание, либо посредством ее приукрашивания, придания ей вида «исключительно справедливой» и «счастливой».

Такие, далекие от действительности варианты воссоздания исторической памяти не только ущербны, но и опасны. И не только потому, что надолго оставить без ответа известные не только интеллигенции, но и народу вопросы все равно не удастся, но и потому, что такой подход ведет к культурной деградации прежде всего народных социальных слоев, от которых запрос исходит. Увертки и манипуляции с целью создания «красивого» прошлого невозможны без целенаправленного выведения народного сознания за пределы культуры, без его превращения в сознание варварское, при котором правы всегда «мы — герои», а неправы всегда «они — злодеи».

К сожалению, в такого рода попытках участвует власть, ставящая цель переформатирования исторической памяти. Не все, однако, идет без неожиданностей. Так, в Чечне Рамзан Кадыров, при всей неоднозначности его как политика, открыл мемориальный комплекс памяти жителей села Дадин-Юрт<sup>8</sup>, погибших в сентябре 1819 года от рук русских колонизаторов. Это село по приказу генерала Ермолова было полностью сожжено, а все жители, включая женщин, стариков, детей, погибли<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> В 1990 году вблизи села, при въезде в Хангиш-Юрт, построили мемориал — простой курган с надгробными плитами, посвященный памяти 46 чеченских девушек, которые, по рассказам, при переходе через Терек бросились в воду и увлекли за собой конвоиров. В память об этих событиях с 2009 года в третье воскресенье сентября в Чечне отмечается День чеченской женщины. В 2013 году мемориал был открыт после реконструкции. Рядом российских информагентств это было расценено как спорный шаг, своего рода «война памятников» против памятников генералу Ермолову. См.: [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%F2%F3%F0%EC\\_%F1%E5%EB%E0\\_%C4%E0%E4%E8-%FE%F0%F2](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%F2%F3%F0%EC_%F1%E5%EB%E0_%C4%E0%E4%E8-%FE%F0%F2)

<sup>9</sup> Кстати, уже Ермолов, один из первых русских колонизаторов понимал, что залогом прочного прикрепления присоединяемых к России народов должны быть изменения в их общественном сознании. Поэтому для мусульман Кавказа им лично была составлена молитва, в которой прославлялся император Александр I. Однако молитва не прижилась.

Вообще, присоединение каждого нового региона к России или к СССР имело свою историю. И часто (если не главным образом) такое присоединение происходило так, как об этом говорил Лев Толстой, обрисовывая ситуацию на Кавказе: здесь «русскими мужиками, обстриженными и одетыми в мундиры и вооруженными ружьями со штыками, убивались тысячи людей, защищавших свою свободу, свои дома и семьи». За это царские начальники «получали ордена и новые украшения на мундир».

Еще раз повторю: у каждого народа, живущего в России, есть свое знание о собственном прошлом, в котором есть не только светлые страницы, как, например, общая борьба против немецко-фашистских захватчиков во Второй мировой войне, но и страницы горестные все еще, нуждающиеся в осмыслении, в объективной оценке произошедшего. В какой мере этот и иные подобного рода примеры становятся сегодня поводом для переосмысления нашего общего исторического прошлого, для его справедливой оценки и, если требуется, признания своих собственных ошибок? К сожалению, даже в научной среде есть прямо противоположные подходы к проблеме национального единства. Вот как обосновывает имперскую позицию России один современный исследователь: «Присоединяем мы к себе народы, или даже силой оружия покоряем — для их же Блага — с нами Бог! А если они с нами, то и с ними Бог. Россия потому и Россия, что она всегда права».

В содержательном анализе исторической памяти до сих пор остается актуальной выработанная в нашей философии формула: «важнейшая *нравственная* задача всякого национального самосознания — это отречение от национального эгоизма и его застарелых грехов». Ситуация, в которой прошлое переделывается под «благие» потребительские или властные цели, опасна еще и потому, что под вопросом оказываются перспективы общественной консолидации на основе консенсуса не только по поводу оценок прошлого, но и выбора образа и стратегии достижения желаемого будущего.

\* \* \*

К числу базовых оснований единения людей в национальном государстве кроме смыслов и ценностей культуры и исторической памяти относится и патриотизм — нравственный и политический принцип, равно как и социальное чувство, любовь к Отечеству и готовность человека подчинить ему свои частные интересы. Вместе с тем, понятие «патриот» (ко многому обязывающее и лестное), предполагает ответ на сложные вопросы. Во-первых, наше Отечество в своей истории и в настоящем бытии являет не только совокупность достойных и благих дел, но также дел недостойных, заслуживающих осуждения. Прославляя, гордясь и указывая как на пример на первые, мы, если хотим оставаться справедливыми, должны давать оценку и, при необходимости, осуждать вторые. Если же оправдывать и дела недостойные только потому, что они совершены нами (исходя из того, что своих осуждать нельзя), то это, очевидно, патриотизм не настоящий, а эгоистичный, племенной.

В том, что считать достойным и благим, а что — постыдным и вредным, требуется согласие. Если таковое достигнуто, можно величать друг друга патриотами, но если согласия нет, то возможны два пути: осуждать свое Отечество, что иногда считается непатриотичным, или обманывать себя, на заслуживающее осуждения закрывать глаза.

Еще более сложно обстоит дело со второй частью определения патриотизма — готовностью подчинить свои частные интересы интересам Отечества в лице власти и/или народа. Примеры, когда при наличии противостояния личного и общественного индивид принимает решение жертвовать личным ради общественного, не столь часты. Преимущественно приоритет отдается личному. Но обычно тот, кто так поступает, склонен доказывать, что его личное совпадает с общественным и он — патриот.

При каких условиях достигается совпадение интересов отдельного человека и народа, а чувство патриотизма для человека органично и естественно? Составными частями процесса согласования интересов личности (народа) и государства (власти) выступают «просвещенность» и «гражданственность» и в случае их соединения в субъекте результатом становится «патриотизм».

Патриотизм бывает разных видов. В случае эгоистичного, племенного патриотизма индивид может совершать что угодно, лишь бы это не противоречило интересам его сообщества. Такой патриотизм, прекрасно представлен, например, Н.С. Лесковым в рассказе «Отборное зерно». Его сюжет — классический пример нашей отечественной «социальности», если говорить словами одного из героев, смысл которой в том, что «вор у вора дубинку украл и какое от этого вышло для всех благополучие жизни» [Лесков 1993: 282]. Коротко он таков. На большой выставке демонстрируется сноп пшеницы с зернами небывалого размера и качества, выращенной якобы в одной из центральных губерний России. К хозяину снопа с предложением о покупке идут разные иностранцы, но он из «чувства патриотизма» принимает решение продать всю собранную пшеницу русскому купцу. За продавцом, к тому же, идет слава щедрого жертвователя «на славян», воевавших на Балканах против турок. То есть, он — патриот из патриотов. При покупке составляется подробнейший договор, из которого следует, что купцу назад дороги нет и он, рискуя потерять крупный задаток, обязуется купить все зерно.

Каково же удивление покупателя, когда приехав на место, он выясняет, что купил зерно вполне посредственное (сор), а знаменитый сноп был составлен из отдельных специально собранных по всему полю колосьев. Продавец, однако, не теряется, а предлагает помещику купить даже больше и по более высокой цене, чем уже куплено, с тем, чтобы нагрузить доверху его баржу (зерно предполагалось везти по реке) и чтобы на ней не было ничьего чужого зерна. Так и сделали.

Далее покупатель боится баржу [Там же: 298–299] и отправляется к известному на реке лоцману, который проводит суда через Толмачевы пороги на Курином переходе и о котором говорится, что он «с вида сер, но ум у него не черт съел». Лоцман Иван Петров отвечал так: «...У нас, на Куриной переправе, в прошлом году страховое судно затонуло и наши сельские на том разгрузе вволю и заработали, а если нынче опять у нас этому статья, то на Поросячем броде люди осерчают и в донос пойдут. Там ноне пожар был, почитай все село сгорело, и им строиться надо и храм поправить. Нельзя все одним нашим предоставить благодать, а надо и тем. А поезжай-ко ты нынче ночью туда, на Поросячий брод, да вызови из третьего двора в селе человека, Петра Иванова, — вот тот раб тебе все яже ко спасению твоему учредит. Да денег не пожалей — им строиться нужно» [Там же: 302].

Естественно, в назначенном месте баржа с «отборным» зерном пошла ко дну. «Зато на берегу точно гулянье стало — погорелые слезы высохли, все поют песни да приплясывают, а на горе у наемных плотников весело топоры стучат и домики, как грибки, растут на погорелом месте. И так, сударь мой, все село отстроилось, и вся беднота и голытьба поприкрылась и понаелась, и божий храм поправили. Всем хорошо стало, и все зажили, хвалящее и благодарящее господа, и никто, ни один человек не остался в убытке — и никто не в огорчении. Никто не пострадал!» [Там же: 303].

Но ведь это обман страхового общества! Это разве «социальность, а не гадость?» «Да разумеется же социальность!», — отвечал рассказчик. Но «страховое общество — не русская, а немецкая затея. А коли среди его акционеров есть и русские, то это такие, «которые с немцами знают да всему заграничному удивляются и Бисмарка хвалят». А Бисмарк до того дошел, что «уже стал проповедовать, что мы, русские, будто «через меру своею глупостью злоупотреблять начали», — так пусть его и знает, как мы глупы-то». И рассуждают так

вовсе не «плуты и дураки», а «благополучные россияне» [Лесков 1993: 304], — итожит рассказ автор.

Для проявления истинного патриотизма человеку требуется мужество и решимость пользоваться своим умом. Обратимся к философскому сказу Н.С. Лескова «Левша». Как подметил Л.А. Аннинский, «баснословие» Лескова звучало «вызовом тому истовому, страшно серьезному, почти молитвенному народолюбию, которым было тогда охвачено общество» [Аннинский 1993: 85]. И народолюбие же было одним из синонимов русского патриотизма.

Итак, во время посещения Англии император Александр Павлович составил себе мнение, будто тамошняя оружейная кунсткамера содержит такие совершенства, «что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся» [Лесков 1993: 475]. Ему оппонирует сопровождающий атаман Платов. Однако его возражение — «мои донцы-молодцы без всего этого воевали и дванадцать язык прогна-ли» нельзя признать превосходящим замечание Александра I. Впрочем, в одном месте повести, рисуя образ Платова, Лесков выбивается из вроде бы определенной ему роли — олицетворения грубой силы, слепо любящей Родину. «Мысль Платова» была: «что и наши — на что взглянут, все могут сделать, но только им *полезного ученья* нет». (Здесь и далее выделено мной. — С.Н.). И совсем неожиданное, имеющее отношение к загадочному тезису о «полезном учении»: Платов мысленно «представлял государю, что у аглицких мастеров совсем на все другие правила жизни, науки и продовольствия, и *каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собою имеет, и через то в нем совсем другой смысл*» [Там же: 304].

Что значат авторские слова об «абсолютных обстоятельствах»? Тезис об «абсолютных обстоятельствах» будет раскрыт на примере увиденного левшой<sup>10</sup> английского общества, жизни, личности и производственной деятельности работников, упоминаний о народных правах и «человечкиной душе». Именно на этой содержательной основе читатель составит себе представление об английском патриотизме и ему четче будет видна та жизненная почва, на которой произрастает патриотизм российский, чья малая искра мелькнула в левше.

Как известно, напоследок англичане дарят императору стальную блоху, умеющую танцевать, а император дает задание Платову изыскать способ, «чтобы англичане над русскими не предвозвышались». Получив от атамана наказ, тульские мастера не просто получили возможность посредством своих знаний «жить своим умом», но были к этому обязаны. Они начинают действовать. Определив, что соперничество с англичанами вероятнее всего возможно в военной сфере, они выбирают именно того святого, который олицетворяет собой «военное одоление» и отправляются не в Москву или в Киев, а к избранному ими «профильному» святому — «мценскому Николе». После возвращения и приняв решение как именно следует действовать, они изменяют весь порядок своей жизни, наглухо закрывшись в отдаленной избе и решение о том, как ответить англичанам они оставляют исключительно за собой, не посвящая в это даже Платова.

Соревнование русских мастеров с англичанами завершилось, можно сказать, вничью. С одной стороны, туляки превзошли англичан своим природным мастерством, в том числе и тем, что обходились без «мелкоскопа» («а у нас так глаз пристрелявши», — поясняет левша), но, с другой, «нимфозория» перестала делать «дансе». Разбирая эту ситуацию после пояснений левши об образованности русских исключительно церковными книгами, англичане позволяют себе крамольное замечание: «...Лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было гораздо полезнее, чем весь Полу-сонник. Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машине расчет силы есть, а то вот хоша

<sup>10</sup> Наименование тульского мастерского иногда употребляют как его собственное имя. Я же сохраняю авторское написание.

вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и ее подковок несть не может» [Лесков 1993: 496].

В лесковской повести обнаруживается важная составляющая патриотизма — гражданственность. Как военный оружейник, обладающий недюжинными знаниями в своей области, левша обнаруживает, что посещавшие до него английский завод русские генералы знакомились с изготавливаемыми там ружьями не снимая перчаток. Левша же, когда засунул палец в ствол, нашел гладкую поверхность и заключил: англичане ружья, как мы, кирпичом не чистят и потому у них пули в стволах «не болтаются». Его последние слова перед смертью: «Скажите государю, ... чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся» [Там же: 503].

То, что происходит с левшой, как только он сходит с трапа английского корабля на русскую землю, горько, но не удивительно. Его сваливает на снег, обкрадывает и морозит в руках полиция, его не принимают в больницы как не имеющего «тугамента», ему, наконец, раскалывают затылок, когда волокут по ступенькам. В Отечестве левша и умирает. Что переменялось с тех пор?

\* \* \*

На содержание понятия патриотизм сегодня оказывает влияние процесс глобализации, в соответствии с логикой развития которой все большее число наций находится между собой не в пассивном контакте, а вовлекается в два взаимодействующих процесса — все более усиливающегося сотрудничества и конкуренции. При этом, сотрудничество в условиях глобализации эволюционирует в сторону целенаправленных и избирательных контактов, а конкурентные отношения делаются абсолютными. И если раньше страны конкурировали территориями, ресурсами, продуктами деятельности, то сегодня прежде всего качествами — жизни и человека.

Возвращаясь к теме патриотизма, нужно выделить и патриотизм, навязываемый властью, то есть, «бессознательный», не основанный на знании и собственном ответственном решении. Патриотизм также может иметь и «географическое» измерение. Известно, что в период гражданской войны в России в начале XX века крестьяне активно боролись против вторжений иностранных интервентов, но добровольно воевали лишь до тех пор, пока захватчики находились на близком расстоянии от их деревень. Они защищали свои дома и не желали идти дальше, демонстрируя «местный», локальный патриотизм.

Впрочем, не стоит думать, что локальный патриотизм нечто второсортное. В человеческой душе у него есть своя ниша и в отличие от патриотизма других видов он самый массовый. Лев Толстой, например, так писал о своем родовом гнезде накануне своего ночного ухода 28 октября 1910 года: «Без своей Ясной Поляны я трудно могу представить Россию и мое отношение к ней. Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу общие законы, необходимые для моего отечества, но я не буду до пристрастия любить его». Вспомним и Пушкина:

«Два чувства дивно близки нам —  
В них обретает сердце пищу —  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам».

Среди видов патриотизма есть, наконец, патриотизм, нацеленный на лучшее желаемое будущее — «жертвенный», просвещенный, гражданский. Он, например, был явлен офицерами-организаторами восстания 14 декабря 1825 года. Известна оценка А.И. Герцена, вышедшим «...сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколе-

ние и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия». Несомненно, что все офицеры-декабристы имели лучшее по тем временам образование, были знакомы с европейской и отечественной культурой. Именно в этом контексте они и породили в своей интеллектуальной среде идеи ограничения самодержавия, Конституции, отмены крепостного права, народного просвещения.

Термин «просвещение» в связи с понятием патриотизма имеет то значение, которое ему придавал И. Кант: *«Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине — это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude! — имей мужество пользоваться собственным умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения»* [Кант 1966: 25].

В кантовском определении просвещение невозможно без такой решимости личности, при которой она отказывается от какого-либо внешнего патронажа или патернализма — «руководства со стороны кого-то другого». Просвещенность есть решимость личности реально «пользоваться своим рассудком» на свой страх и риск, то есть осуществлять это практически. Очевидно, что эти качества просвещенной личности напрямую никак не детерминированы определенным уровнем социально-экономического или политического развития общества, состоянием государства, наличием или отсутствием гражданского общества и его институтов.

### ***Просвещение и пропаганда в России и в СССР***

Рубеж 80-х – 90-х, судя по тиражам «толстых» журналов, можно было бы назвать взлетом высокой культуры, если бы не ее содержание. Практически все оно принадлежало культуре, в советское время подпольной. Это был не неожиданно прекрасный этап позднесоветского развития, а случайно уцелевший дагерротип. Экономическое переустройство, новые ценности 90-х — начала нулевых создали новые отношения «верхов» и «низов». Но внимания к высокой культуре не прибавилось. Она, претендующая на бескомпромиссную честность и критичное отношение к действительности, как и прежде, востребована не была. Напротив, бурно расцвела «культура» сервильная, в одно и то же время старающаяся угодить как начальству и новым хозяевам жизни, так и народному потребителю. Последнего она именovala «пиплом», который, «все хаваает». Пипл не обижался, здраво рассуждая, что «с вином все пойдет».

Надо ли доказывать, что во все времена для жизни высокой культуры в народе требовались просветители-интеллигенты? И что в России по поводу их отсутствия никто особо не тужил, а в избытке были пропагандисты? Со времени «нулевых» мало что переменялось. Вышедшие на авансцену жизни «творцы» культуры и ее пропагандисты результаты своей работы демонстрируют, как говаривал классик, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе. Но, может убогие их продукты представляют собой лишь отдельные грязные пятна на разлитом по стране чистом море культуры? Ведь нам все время настойчиво напоминают о нашем истинном культурном богатстве, которое и есть — не может не быть! — подлинное нутро современного российского народа. Заботятся о чистой воде — выполняют работу культурного просвещения в успешно развивающихся обществах гуманитарии — ученые, вузовские преподаватели, школьные учителя, библиотекари, деятели культуры. И не только на научных семинарах, лекциях, уроках, читательских конференциях, в кинотеатрах и на театральных сценах. Много их и в новых «классах» — на телевидении. Но это где-то в тридевя-

тых царствах. В наших же палестинах с отечественного «голубого экрана» изгнана интеллигенция, а ее место плотно уселась тьма пропагандистов с задачей форматировать и закреплять сознание народа, как и прежде, не особо склонного к самостоятельным блужданиям по культурным лабиринтам.

Во времена СССР была «направляющая сила» — идеологический аппарат партии, работавший на всех этажах от ЦК до низовых организаций. Пропагандистские органы через СМИ «доводили» до населения «положения, оценки и установки». Считалось, что народ их «усваивает».

Похоже ли это на то, как работают пропагандисты сегодня? Думаю, даже если бы власть в этом испытывала потребность, воссоздавать прежнюю машину не было бы нужды. Прагматикам, коими люди власти не могут не быть, ясно: не нужно тратить усилий — выращивать сад. Потребителям телевизора сойдут и плоды «самосевной» яблони-кислицы. Тем более, что традиция пропаганды — одна из сильнейших отечественных, равно как и небрежение просвещением.

Родина нашей великой культуры — XIX век, обличая пороки, мало ориентировался на главное — народное сознание. Ему почти нечего было сказать девяностопроцентной массе населения, пребывавшей в полудиком состоянии и только-только начавшей из него выбираться после реформ царя-освободителя. В лучшем случае мужичье царство представлялось классикам покорными в своих бедах «антонами горемыками» Григоровича или равнодушными к хозяйству тургеневскими «калинычами», бродившими с ружьем в поисках страны, в которую «кулички летят». В литературе, как и в жизни, «хори» и «бирюки» из «Записок охотника» были сродни юридическим, если вообще существовали. Зато в раздумьях Достоевского и Льва Толстого доставало мифов-фантазий о «мареях» и «каратаевых платонах». Исключениями, почти не замеченными, были лесковские и чеховские «мужики», обитавшие в темноте, дикости, злобе и нищете.

Октябрьская ставка на городские и сельские низы как основу «нового мира» вылилась в платоновский «Котлован» и «Колымские рассказы» Шаламова. А успешный атомный проект (чем так гордятся и оправдывают сталинизм его духовные наследники) был оплачен рабством шарашек и 60 миллионами «привлеченных органами» с 1924 по 1953 годы по всему диапазону их мероприятий: от «простых» допросов или ночных обысков — до заключения в тюрьму, лагерь, ссылки или расстрела. И хотя позднее режим смягчился, но авторитарную суть не поменял и от «опоры» на пропагандиста не отказался. Среди главных идей, которыми заполняют пространство телевизионных классов и забивают мозги значительной части народа, все то же, что и во времена Салтыкова-Щедрина: мы самые лучшие, великие, обладающие миссией, а вокруг сплошь идиоты и враги, божественным промыслом обделенные.

Но и это, оказывается, не предел. В последнее время ряды телепропагандистов и «экспертов» власть пополняет пропагандистами «духовными» с задачей обосновать правильность, чудесную силу и мировую значимость исключительно отечественных «скреп». При этом никто и нигде не раскрыл — что же это за такие специфические, недоступные другим народам скрепы и сколь глубоко укоренены они в нашей великой культуре. Ведь если говорить о том же XIX веке, то за исключением двух — трех имен славянофильствующих творцов, гении первого ряда — Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Чаадаев, Герцен, Белинский, Тургенев, Гончаров, Лев Толстой, Салтыков-Щедрин, Лесков, Островский, Сухово-Кобылин, Чехов — все плоть от плоти русской европейской культуры, никогда не разделявшие национального чванства, равно как и не замеченные в усердствованиях по поводу православной исключительности. Свойственное им просветительство никогда не вырождалось в пропаганду. Не случайно в советские времена произведения некоторых из них либо замалчивали как не отвечающие

«курсу», либо пытались пропагандистски переиначить, как это было, например, с «Капитанской дочкой» Пушкина, превращенной в антимонархический фильм «Гвардии сержант».

Сегодня пропаганда процветает и обретает все новые формы. Вот, недавно в культурном пространстве возникла госпожа Поклонская, поведавшая о «мироточащем» бюсте Николая II, а затем плавно переключившаяся на борьбу за киношную неприкосновенность его частной жизни. И не успела «образованная публика» оправиться от ее пропагандистского наскока и успокоиться после созерцания бурных споров в высшем законодательном органе страны, как на поле общенационального диалога дала бурные всходы версия «ритуального убийства» венценосной фамилии. А далее, хоть и рангом пониже, явился новый цветок православно-пропагандистской эманации — идея школьного курса «семьеведения». Среди обоснований его необходимости, идущих от целого ряда, как правило, облеченных саном инициаторов, есть идеи любопытные. Добрачные любовные связи, например, именуется принципиальным «фактором риска» для создания семьи, а на однажды возникшие отношения юноши и девушки ставится обязательная печать вечного обета. Цитирую: «Юные люди друг с другом дружили — год, два, а потом один из них изменил. Представляете, какая рана у другого? И второй вправе сказать: «Мы же только пробовали». Он цинично, но озвучивает правду — был нарушен естественный порядок развития семейных отношений». Дальше — конкретнее: в школьный курс предлагается тема о взаимоотношениях с тещей и тестем, о пеленании младенца и т. д. в подобном духе.

Вопросы эти, конечно, имеют свой ранг и значение. Вот только народу подаются они не просветителями-интеллигентами, а пропагандистами, действующими по одной и той же примитивно-наставительной методе. Нет понимания, что пропаганда всегда утилитарно-конкретна, надоедливо-ригористична, способна преследовать лишь малые цели. К тому же конкретных проблем, на которые она только и способна нацелиться, море необозримое. И потому церковно-послушническая метода, по которой монаху нужно следовать двум-трем десятками затверженных правил с необходимостью их применения в узком круге бытовых обстоятельств, не подходит для гигантского, разнообразного и постоянно усложняющегося современного мира. Полнотой жизни в этом мире обладают лишь обогащенные культурой, нравственные, свободные и мыслящие люди, которым не нужно натаскивать на теме взаимоотношений с тещей.

И, ведь, что обидно: не первый год зубной болью достает нас не меняющаяся в своей сути пропаганда «духовности», которую мы все также покорно сносим. Напомню хотя бы об имевшем место несколько лет назад предложении одного политика-«интеллигента», который считал важным для нравственности школьников отменить изучение драмы А. Островского «Гроза», дабы предохранить детей от содержащегося в ней растлевающего факта супружеской неверности. Новое дыхание пропаганда обрела себя и в фактической реабилитации в народном сознании Сталина. Так, живописуя портрет «отца народов», автор книги о Сталине С. Рыбас сокрушает не только границы разума, но и нормальной человеческой этики. Сталинские лагеря у него сравниваются... с монастырями русского севера, а русская многовековая борьба с географией отражается в рациональной системе ГУЛАГа. «...Опыт освоения Севера путем свободного найма рабочих и инженеров оказался неуспешным: люди не выдерживали суровых условий и уезжали». Но суровая необходимость в условиях назревающей войны требовала подвига. И к счастью у страны была в запасе «экономика ГУЛАГа». Героические советские заключенные под чутким руководством пламенного НКВД выполнили задание партии: «В 1940 году доля НКВД в освоении централизованных капиталовложений достигла 14 процентов» [Рыбас 2009: 544]. И «если не брать во внимание моральную сторону вопроса, то построенные заключенными каналы, железные дороги, гидроэлектростанции, порты, заводы, рудники, шахты, нефтепромыслы можно сравнить с очередным этапом

культурной колонизации российского Севера, перекликающейся с «Северной Фиваидой» Сергия Радонежского» [Рыбас 2009: 544]. Ведь «если смотреть на дело с точки зрения исторической перспективы, страдания миллионов несправедливо посаженных в лагеря людей, преждевременная смерть, вероятно, доброго миллиона прекрасных коммунистов — исторически преходящий эпизод» [Там же: 819].

Понятно, что при свободе слова запретить появление людоедских или наставительных «негоций» (как обозначил Манилов сделку с мертвыми душами) нельзя росчерком пера и на самом деле неплохо, что люди пытаются мыслить. Только жаль, что их личный культурный уровень не всегда адекватен формулируемым проблемам, а пропагандистская смелость намного превосходит профессиональную подготовку.

Впрочем, не все сводится к конкретным недостаткам конкретных людей. Часто их действия — проявление серьезной и запущенной общественной болезни. А кто ж пеняет больному в зоне эпидемии...

\* \* \*

Было бы ошибкой думать, что длительная и привычная в нашем отечестве поощряемая властью подмена интеллигента-просветителя интеллигентом-пропагандистом произвольна. За подменой культуры дикостью, а просвещения — пропагандой много. Прежде всего, небрежение человеком, идущее от имперской природы России-СССР. Почти нет опыта (не говоря о традиции) создания условий для вызревания народной личности, заботы о ее высоком качестве. Много ли было и есть, например, институций, подобных Царскосельскому лицезу? Много ли примеров личностного строительства явила все та же отечественная классика? Куда в XX веке подевалась фигура говорящего с народом философа или детского домашнего наставника?

Да, нашей истории известно много личностей. Но чем ближе к современности, тем чаще появлялись они «самосевно» или наперекор. Ставилась цель — «человек-подданный», «человек-винтик», «человек-ресурс». «Я, — говорил в советские времена начальник молодому подчиненному, — из тебя человека сделаю!» И ведь принимался. Или из недавних сюжетов массового «сотворения» народного сознания: телекартинку про «распятого мальчика» соорудили — возмущенные крики в студии организовали, патриотизм «насадили», на врагов ненависть «обрушили» — чем не творение? Но кроме прямой пропагандистской задачи — штамповки подданных для противостояния внешнему миру — есть и потребность манипулирования общественным сознанием и личностью в интересах сохранения власти имущими их собственности. Под фанфары пропаганды собственность подданных неуклонно минимизируется, а у властей прирастает.

В проблеме неизбывного пропагандиста есть и более широкое основание. Речь о случившемся в Европе в начале XX столетия и недавно докатившемся до нас «восстании масс». «Восстание» — выход на сцену общественной жизни «серых» или, как говорил Мандельштам, «людыя» — тех, кто «ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким же, «как все» и доволен собственной неотличимостью. ... В массу, — как отмечал Хосе Ортега-и-Гассет, — вдохнули силу и спесь современного прогресса, но забыли о духе» [Ортега-и-Гассет 2003: 50–51].

Своей общественной работой пропаганда губительна не только потому, что создает ядовитую для народа и его сознания среду. Она исключает просвещение, предвещающее свободное мышление и поступок, опошляет, а затем и уничтожает культуру. В ее миазмах живут и рождаются новые поколения, которые привыкают, а затем и начинают существовать на пропагандистском наркотики и никак иначе. «Извлекать» их из этого состояния крайне сложно, а иногда и невозможно.

В этой связи перед всеми обществами жесткий выбор: либо народ просвещать и к самостоятельности «подвигать», либо — проще, но опасней — им до времени манипулировать. Речь о системах управления: простой, пропагандистской, прибегающей к насилию, или сложной, просветительской, опирающейся на культуру и гражданскую самоорганизацию. И этот выбор уже совершается. Все состоявшиеся в XX веке диктатуры были, в том числе, и попытками найти способ эффективной манипуляции. И хотя все они провалились, но проблема не перестала быть таковой, а надежды на успешное манипулирование не исчезли. Так куда ж нам плыть?

\* \* \*

Примитивная пропаганда вслед за «словом» раньше или позже подвигает усвоивших ее субъектов из народа к определенному роду «делам». Первые признаки налицо. За декларациями «волков» приходят ребята с мочой, зеленкой, канистрами в «рафике» и, наконец, доходит до выстрелов. Политковская, Эстемирова, Немцов...

Второй путь — просвещения — долог и труден. Начинать его власти не хочется никогда: затратные и невидимые миру усилия нужно делать сегодня, а плоды, если они случатся, пожнут ее «сменщики» много лет спустя. К тому же, для нас просвещение дело экзотичное. Куда привычнее пропагандистское манипулирование народом, нередко в сочетании с николаевской парадигмой «вежливо, но в морду».

Впрочем, сегодня даже с самой возможностью просвещения не все просто. Все меньше тех, кто в России остался, а не уехал, тех, кто способен выполнять просветительскую работу, в том числе — просвещать будущих просветителей, готовить элиту элит. К тому же и наука — один из источников и инструментов просвещения — не только нынче не в фаворе, но и редкий предмет публичного внимания. Проблема назрела давно. И делать вид, что «ничего страшного» не случается — обман. Происходит самое плохое: мы продолжаем разрывать уже и без того разорванный исторический процесс непрерывного просвещения, вырабатывать привычку жить без него, заменяя просвещение пропагандой. Мы, возможно, делаемся более «целеустремленными» в своей готовности быть «за» или «против», но не становимся лучше, умнее, порядочнее, что и называется качеством человека.

Стране давно необходима программа духовной реформации, касающейся не столько технических средств и материальных условий, сколько целей, ценностей, смыслов деятельности. И начинать предстоит с радикальной замены всех форм пропаганды, культивирующей милитаризм, религиозную архаику и дикость культурным просветительством. Но, кажется, еще Пушкин говорил: в России европеец только правительство. Счастливые были времена.

Аннинский Л.А. 1993а. Катастрофа в начале пути. — Лесков Н.С. *Собрание сочинений в 6-ти томах. Том 1.* — М.: Экран.

Аннинский Л.А. 1993b. Сотворение легенд. — Лесков Н.С. *Собрание сочинений в шести томах. Т. 5.* — М.: Экран.

Бессараб М. 1981. *Сухово-Кобылин.* — М.: Современник.

Волков Г. 1989. *Мир Пушкина. Личность, мировоззрение, окружение.* — М.: Молодая гвардия.

Герцен А.И. 1956. *Собрание сочинений в 30-ти томах. Т. 7.* — М.: АН СССР.

Кант И. 1966. *Собр. Соч. в 6-ти томах. Т. 6.* — М.: Наука.

Лесков Н.С. 1993. *Собрание сочинений в 6-ти томах. Т. 7.* — М.: Экран.

Никольский С.А. 2011. Достоевский и явление подпольного человека. — *Вопросы философии*. — № 12.

Никольский С.А. 2017. *Империя и культура. Философско-литературное осмысление Октября*. — М.: ИФ РАН.

Ортега-и-Гассет Х. 2003. *Восстание масс*. — М.: АСТ.

Проблемы российского самосознания... 2011. *Проблемы российского самосознания: мировоззрение А.П. Чехова*. Отв. ред. С.А. Никольский. — М.: Институт философии РАН.

Пушкин А.С. 1981. *Полное собрание сочинений в 10-ти томах. Т. 3*. — М.: Правда.

Рыбас С. 2009. *Сталин*. — М.: «Молодая гвардия», серия «ЖЗЛ».

Салтыков-Щедрин М.Е. 1988. *Собрание сочинений в 10-ти томах. Т. 3*. — М.: Правда.

Соловьев Э.Ю. 1991. *Прошлое толкует нас*. — М.: Издательство политической литературы.

Степун Ф. 2000. *Бывшее и несбывшееся*. — СПб.: Алетейя.

Чехов А.П. 1985. *Полное собрание сочинений в 30-ти томах. Т. 4*. — М.: Наука.